

МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ НЕ СВОЕЙ ДУШИ

Снимок этот сделан на краю Земли, на одной из протоков Индигирки. Еще чуть-чуть, и река растворится, исчезнет без следа в Ледовитом океане... Когда-то здесь, в Станчике, было одно из поселений Русского Устья, последняя примета его — церквушка, уже угасшая, осевшая в вечную мерзлоту, но все не верящая, что больше не нужна людям. Она срублена точно так же, как храмы русского Севера и как дома поморов по Беломорью: в далеком от нас царствовании Ивана Грозного оттуда пришли на Индигирку предки нынешних русскоустинцев...

Что потянуло Распутина в арктическое Русское Устье? Изначальная мысль — язык. И сегодня еще старики там не говорят — бают на удивительном древнерусском, убежденном от растворения в чужеродном языковом окружении.

«Чудилось мне, когда я слушал эту речь, что от похода Игоря в половецкую степь нас отделяют не многие века, а только версты пораздавшейся Родины...» — скажет Валентин позже. Позже, но еще до того, как будет написан очерк «Русское Устье», в котором откроются истинный замысел путешествий Распутина и глубина его проникновения в суть многомерного явления, которое мы привычной скороговоркой называем покорением Сибири.

Тут бы самое время и соскользнуть к распутинской публицистике, к очеркам. Но я не исследователь его творчества. Я этого человека просто люблю. Не за написанные им вещи, за это, по-моему, перед Мастером можно благоговеть, как благоговеем мы перед Пушкиным или Достоевским. Я же имею в виду знакомое всем нам чувство симпатии к человеку. Тут вроде никакие аргументы не нужны, но я все же скажу — за что.

Проза (известная теперь всему читающему миру) и личность Распутина (остающаяся загадкой для этого мира) состоят в удивительной гармонии, в повседневье он поступает точно по тем же правилам и меркам, по которым живут его добрые герои. Поведение такое не может быть следствием контроля над собой, таков он есть, как говорится, от бога. Но представьте на миг, каково было бы рядом с праведником обычному человеку со всеми его слабостями, если бы его на каждом шагу одергивали, поучали...

Нет, представить Валентина поучающим, читающим мораль невозможно. В нем какое-то удивительное терпение к человеку, готовность к состраданию. По канонам газетного жанра эти слова должны подкреплять примерами, но в данном случае моя задача упрощается — откройте его книги.

В самом начале нашего знакомства, а оно состоялось в конце семидесятых, я иногда ловил себя на мысли, что страсти и страдания распутинских героев, от которых, кажется, даже бумаге больно, создал какой-то другой Распутин, а не мягкий и деликатный Валентин Григорьевич. Нужно было всмотреться в Валентина, настроиться на его волну нравственности, чтобы понять очевидное: другим человеком и не могли быть написаны ни «Живи и помни», ни «Прощание с Матерой», ни его удивительно светлые рассказы и повести, отнесенные критикой в «деревенские», хотя там вспахан общечеловеческий пласт нравственных проблем, которым тесны любые рамки и границы.

«Деревенщиком» Валентина, по моему убеждению, можно считать только по корням. Аталанка, ангарская деревня, погибшая в годы системного освоения (Валентин говорит — погубления) прекрасной сибирской реки, а потом возрожденная на холодном месте и холодными руками, создала в нем нравственный фундамент, на котором потом строился Распутин-писатель. Тут я, видимо, ничего нового не прибавляю к известной формуле, что мы все родом из детства. Но важно увидеть очевидное: детство Валентина прошло в сибирской деревне с особым общинным укладом, эталонным пониманием добра и зла. Он рассказывал как-то, что после войны, когда за горсть колосков прокурор требовал десять лет с конфискации, Аталанка перед описью имущества у «злюдея» разбирала все по домам — от домашней утвари до скота. А потом возвращала... Экология, которая теперь занимает такое значительное

место в его писательской работе и общественной деятельности, была им усвоена сызмальства в основополагающем правиле — не вредить. Пацаненком принес однажды домой охапку веток смородины с ягодами — с куста рвать поленился, дед снял ремень и все доходчиво «пояснил».

Историю со смородиной Валентин рассказывал мне, когда мы готовили первую в нашей печати публикацию о несомненном вреде Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. К тому времени он уже много лет занимался проблемами охраны озера. Гласность тогда еще не взлетала на нынешние высоты, она только расправляла после долгой подвязки онемевшие крылья. Все связанное с загрязнением Байкала было для печати запретной темой. Но в том и весь Распутин, что он никогда не примерялся к тому, что можно писать и что нельзя. Он писал всегда, что считал нужным обществу, своему времени.

Распутин — один из крупнейших общественных деятелей нашего времени. В том смысле, что он истово и в ущерб деятельности писательской, что мне, откровенно говоря, не нравится, занимается той работой, которая нужна, позарез необходима обществу. В годы, которые теперь ругаем застойными и на которые охотно списываем чужие грехи и собственный конформизм, Валентин ведь не разводил руками — время-де такое. Вот послушайте: «Нельзя снимать с человека всю ответственность и перекладывать ее на общество. Против опасности свалить все на среду предупреждал еще Достоевский. Человек в ответе за свою жизнь, а общество составляем мы с вами...»

Это случайно сохранившаяся на кассете запись с творческого вечера Валентина в Иркутской филармонии, едва ли не первого общения писателя с земляками по классу зрелищ. Зал переполнен. Даже для меня, только начавшего работать в Иркутске, множество знакомых лиц. Для Валентина, наверное, и вовсе весь зал свой. Это даст повод ему

пошутить: «Неужели вы думаете, что за рубль с полтиной услышите со сцены не то, что я говорю обычно?»

И все же зачем мы были там все, знакомые и незнакомые? Где еще, как не на том вечере, мы могли слышать, что общество переживает упадок нравственности, что мы идем в тупик и если не остановимся, то лет через семь — десять начнется необратимый процесс распада! Валентин призывал не ругать, а спасать молодежь, вырастающую в бездуховности. Он бил в набат: народ не только спивается, но и спивается... Случалось, после читательских конференций на него писали доносы: что же это такое писатель Распутин себе позволяет? Это же...

Это была правда. Правда, которая не давала разувериться и сделать приспособленчество нормой отношений. Разумеется, общественные деятели, возведенные в этот ранг официальными кругами, ничего подобного себе не позволяли. Никогда не избранный, никем специально не уполномоченный Валентин Распутин восполнял пробелы несовершенной нашей демократии. Еще не один год пройдет, пока войдут в обиход слова «гласность», «перестройка», «ускорение», «демократизация». Валентин призывал к тому же, но слово нашел другое. Оно и сейчас не потерялось бы! Это слово — и скрещено.

Заниматься толкованием символов в творчестве Распутина (равно как и другого писателя) — занятие, схожее с прогулкой по проволоке над пропастью. Но я все же рискну высказать одно предположение. В рассказе «Что передать вороне?», созданном в те самые многотрудные годы, нам открылся новый Распутин, пытающийся заглянуть за ту самую границу, куда залетает его ворона и куда до него заглядывал только Достоевский. Много вопросов и даже недоумения вызвала загадочная фраза в рассказе: «Господи, поверь в нас, мы одиноки». Мне видится в ней и отразившийся упадок общественного оптимизма, и

отчаянная молитва Валентина помочь своему народу, частью которого является каждый из нас.

Появление личности масштаба Валентина Распутина всегда вызывает, и это закономерно, интерес: каковы корни, условия формирования таланта. Я никогда не выпытывал у Валентина подробности его биографии, из того же, что он рассказывал сам, получается, что для произрастания писательского дарования была только одна питательная среда — страдание. Страдание как историческая полоса, через которую прошел весь наш народ. Можно было бы обращаться к главному свидетелю — прозе писателя, в которой нетрудно найти факты распутинской биографии. Он так же впроголодь жил, как мальчонка из «Уроков французского». Немногим сытнее были и университетские годы. Что касается нарядов, Валентин не стесняется вспомнить, что ходил зимой в телогрейке и валенках, лишь бы тепло. Не от него знаю, что и самого Распутина, и его университетского друга Александра Вампилова преподаватели особо не выделяли и не жаловали, к литературным опытам относились без ахов. Словом, жизнь его никогда не баловала, да и сейчас суетные неурядицы быта хватают за руки, ставят подножки. Разумеется, все бы можно было устроить. Но в том-то и дело, что у Валентина нет одной нравственности для работы за письменным столом и другой — для домашнего пользования.

Однажды бывший первый секретарь обкома партии Н. Банников обмолвился с хорошо скрытым раздражением: замкнутый человек Распутин, все сам по себе. Несколько раз приглашал его лично поехать вместе на знаменитые стройки Приангарья, на БАМ. Не поехал. Неинтересны ему «героические свершения» наших дней...

Что, казалось бы, за отступничество поехать с «самим» Николаем Васильевичем, который так долго проработал в области, что ее начали называть «Земля Банникова»? И не так уж Распутин наивен, чтобы не

понимать: такая приближенность даже, не близость, автоматически решила бы массу проблем. Во всяком случае квартира нашлась бы получше, жена по очередям стояла бы поменьше. Тем более, что собратьям по перу, согревающим по этой части, Валентин находит оправдание, не клеймит. Но сам придерживается той самой «деревенской» морали, согласно которой мальчишка из «Уроков...» стерпит что угодно, а макароны от учительницы не возьмет и за стол к ней не сядет. К слову, после публикации рассказа учительница французского отыскалась — вспомнила и про макароны, и про яблоки. Встретились же они, если я не ошибаюсь, во Франции, где она работала переводчицей в нашей миссии.

Французский — бог с ним. Валентин смеется, что поначалу-то и его «деревенский русский» вызывал в Иркутске улыбки. Понадобилось немалое время, чтобы сломать себя, чтобы перейти на литературный язык...

Мы так далеко ушли от тезиса о страдании единственно с целью доказать — бальнем судьбы Валентин никогда не был. Но если бы его перо было движимо только желанием рассказать о пережитом, это была бы иная проза. Потрясающая сила его вещей рождена с остранением. Мало ли кто писал в нашей литературе о дезертирах! Но кто разделит вместе с ними их муки, терзания, кто пытался не заклеить, а понять их поступок? Разве не исследовал Р. П. Уоррен жизнь и поведение американского городка накануне затопления при строительстве электростанции? Но почему же тогда трагедия Матеры для нас открытие? А ведь в современной литературе даже остров с таким именем — у Тендрякова — уже был, и Валентин, к слову, долго сомневался, не переименовать ли ему свой остров. (Потом написал Тендрякову, попросил разрешения на использование имени в своей повести). Тут один ответ — сострадание, сила сопереживания, которая сопутствует любому делу, за которое берется Валентин.

Я знал, что он задумал книгу очерков о Сибири. Возвращаясь из близлежащих к Иркутску городов и весей, он рассказывал, что видел, переживал, если родной город отстал от соседей, и воевал за сохранение в городе исторического, индивидуального духа. Он расспрашивал меня о Русском Устье, где мне приходилось бывать раньше, ему верилось и не верилось, что там действительно можно услышать древнерусскую речь. Потом мы отправились на Север вместе и, прежде чем добраться до Полярного (так теперь не от большой любви к родной истории переименовали Русское Устье), еще побывали на Колыме, помолчали на старом лагерном кладбище в Амбарчике, где вместо крестов ставили таблички с номерами, навещали оленеводов, встречались с Алексеем Гавриловичем Чикачевым — русскоустинцем, работавшим тогда первым секретарем Нижнеколымского райкома партии. Потомок древнего первопроходческого рода, Алексей Чикачев составил словарь говора своего селения, увлеклся историческими изысканиями. (Позже Валентин приложил руку к тому, чтобы опубликовать работу Чикачева).

Если бы Валентин написал очерк этнографический, как можно было предположить, это было бы просто интересно. Но дойдя до истока освоения Сибири, он показал, как простые служивые люди мирятся с абригенами, и то были блестящие страницы интернационализма. Он писал о сохраненном языке, обычаях — то был ответ, как начиналась история культуры Сибири. Он писал о духе и мужестве людей, положивших начало сибирскому характеру.

...Церковь в Станчике Валентина огорчила. Он понимал, что в другом состоянии она вряд ли и могла быть. Но вот что произошло потом. Братья Чикачевы, которых в Русском Устье немало, собралась, наловили плавника и церквушку поправили. (Сделали они это ко времени, будущим летом Русское Устье будет 350 лет, возраст явно заниженный, но и это немало).

Что добавить к тому, что от добра рождается только добро?
Леонид КАПЕЛЮШНЫЙ.
Фото Бориса ДМИТРИЕВА.

